

НИКОЛАЙ Степанович Гумилев не мыслил ни своего творчества, ни своей духовной и интимной жизни без некоей минуты торжества — без той самой единой хотя бы минуты, без которой, как считал Иннокентий Анненский, «нет искусства и нет даже вообще исканий красоты».

И как бы ни была драматически остра или даже безысходна жизненная ситуация, встречающаяся в гумилевской лирике (да и не только в лирике, но и в его судьбе), все-таки минута торжества, вызванная творческим озарением, была решающей в его поэзии и в его жизни. Вот почему можно сказать, что это характерное для всей эстетической программы Гумилева самоутверждение было в то же время и минутой торжества человеческого духа над безликостью, бездуховностью, тусклой усредненностью всегда и во всем. Но для того, чтобы испытать это торжество человеческого духа, для Николая Степановича была необычайно важна интонация, которая и определяет отношение автора к сотворенному им миру, которая должна быть не просто верна, не просто искренна, но безошибочно искренна и безошибочно верна.

Все эти мысли приходят на ум, когда читаешь гумилевский «ахматовский» цикл.

«Когда любишь жизнь как любовницу, в минуты ласк не различаешь, где кончается боль и начинается радость, знаешь только, что не хочешь иного», — писал Н. Гумилев в «Письмах о русской поэзии».

Как это просто и по-человечески умно сказано об эстетическом впечатлении! И когда ты сам пытаешься определить и сформулировать в слове впечатление от красоты и живописной выразительности гумилевской лирики, то не можешь найти другого слова, как пушкинское слово у него. Да-да, упование красотой стиха, образа, мысли, самого лирического чувства испытываешь ты, когда читаешь и перечитываешь стихотворение «Это было не раз», которое является своеобразным ядром не только в «ахматовском» цикле, но, пожалуй, и во всей любовной лирике Гумилева.

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве, глухой и упорной:
Как всегда,

от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не двинься,
мой врандующий друг.

Враг мой,
схваченный темной любовью.
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуй — окрашены кровью.

В этих строках сложнейшее духовное и чувственное противостояние двух сильных и сложных натур сведено к той самой поэтически-изысканной и многозначной простоте, которая дается невероятным усилением воли и которая угадывается почти мгновенно.

Лирика Николая Гумилева, озаренная поэтическим образом Анны Ахматовой, основана на внутренне противоречивых состояниях. Ибо сама Любовь предстает перед нами как неразрешимое противоречие, как неодолимое влечение двух противоположных полюсов. И это влечение, точнее сказать, эта устремленность захватывает наше внимание, поскольку в стихе образуются особое магнитное поле. Это поле может существовать только благодаря вот такой непримиримости в отношениях двух любящих сердец, их каждодневных встреч-разлук, столь же мучительных, как и сама любовь.

Я не буду тебя проклинать,
Я печален печалью разлуки.
Но хочу и теперь целовать
Я твои увядшие руки.

Все свершилось, о чем я мечтал
Еще мальчиком странно-влюбленным,
Я увидел блестящий кинжал
В этих милых руках обнаженным.

Ты подаришь мне смертную дрожь,
А не бледную ложь сладострастья,
И меня навсегда уведешь
К островам совершенного счастья.

Вообще трудно помыслить себе лирический портрет Анны Ахматовой иначе написанным, чем тот, который создал Николай Гумилев. Хотя, как известно, подобная стихотворная портретная галерея Анны Андреевны необычайно велика. Можно, конечно, сказать, что здесь она предстает как живая, если бы это выражение не было отмечено печатью неистребимой банальности.

Нет, только глубокая, только непреходящая со временем любовь позволила Гумилеву вновь стать провидцем, вновь ис-

МИНУТА ТОРЖЕСТВА

пытать отрадное и горькое чувство торжества, когда была дописана последняя строчка.

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа раскрыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью, дольней и отрадней,
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавлен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастье мое.

Казалось бы, в этом стихотворении не совсем точна строка — «нельзя назвать ее красивой», когда имеются и портреты, и фотографии, и свидетельства современников о том, что Ахматова была не просто красива, но красива какой-то особой, царственно-величавой красотой. Но Николай Гумилев сумел воссоздать не только духовную красоту, но еще и страстность характера Анны Ахматовой:

Когда я жажду своеволий
И смел и горд — я к ней иду
Учитесь мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Тонкий психологизм, который ощущается в каждой строке этого великолепного стихотворения, тем дороже для нас, людей совсем иной эпохи, чем шире молва о королевской невозмутимости и величественной гордости Ахматовой.

Из разговоров Ирины Одоевцевой с Николаем Гумилевым известно, что Анна Андреевна почему-то старалась казаться несчастной, нелюбимой и что она была дьявольски горда, горда до самоуничиже-

ния. Эту ее гордость, конечно, не могли не оскорблять стихотворные строчки Гумилева о том, что и «Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить». И опять-таки это были не просто и не только стихи... Вот почему, выявляя подробности их личной жизни, крайне необходимые для более пристального и эстетически-углубленного прочтения стихотворений этих двух выдающихся поэтов, следует все-таки вспомнить строфу-акхалине, строфу-мольбу, написанную Ахматовой в Киеве в двенадцатом году:

Мир родной, понятный и телесный,
Для меня, незрячей, оживи,
Исцели мне душу, царь небесный,
Ледяным покоем нелюби.

Вероятно, весьма и весьма вероятно, что эту жажду «нелюби», порожденную

менная лирическая драма, оснащенная такими же современными репликами, как самый обыкновенный стакан, да-да, не кубок, не бокал, а граненый стакан, хотя в этой драме он и играет роль кубка.

«Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?»

Таково начало, которое позволяет развернуть внутренний монолог и выразить всю силу любви-ненависти, которая по-своему, да, по-своему яростна и прекрасна, как яростна и прекрасна борьба двух волей, двух характеров, двух самолюбий:

Отвернулась печальной и гибкой...
Что я знаю, я знаю давно.
Но я выпью, и выпью с улыбкой,
Все налитое ею вино.

Проникаясь не только смыслом этих строк, но и смыслом многих других стихотворений Гумилева, видишь, насколько эстетически важным, даже — самоценным было для него положение, что сила любви, как и сила ненависти, является всепоглощающей страстью и что эта всепоглощающая страсть, как в античные времена, и позволяет постигнуть красоту — и нестерпимой душевной боли, и любви-ненависти, и даже самой смерти.

Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой,

с кем хочешь, хоть с ним.
Я уеду, далеким, далеким,
Я не буду печальным и злым.

Мне из рая, прохладного рая,
Видны белые отсветы дня...
И мне сладко — не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня.

Да, все значительное, истинно драматическое сосредоточено здесь не в выкриках, не в эмоциональных всплесках стиха, а в словах, которые можно произнести даже шепотом... Или вполголоса... Или с внутренней болью и тоской эти слова:

И мне сладко — не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня!

— сильнее и вещественнее передавали состояние внутренней тревоги, что теперь не покидала Гумилева, а как бы все более и более усиливалась со временем, все безответнее захватывала поэта. В том самом апреле двадцать первого года, в котором состоялся его разговор с И. Одоевцевой, его посещала не только эта неотступная тревога, но его посещали странные, почти неодолимые предчувствия: ему казалось, что он не сможет избежать общей участи и что конец его будет страшным... Причиной таких предчувствий явился сон, который он хорошо помнил... «И когда я проснулся, — добавил в разговоре Гумилев, — я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру».

Это предчувствие, увы, не обмануло поэта. И, быть может, оно тоже было минутой его торжества... Торжества его честности и прямоты над жестокостью политических расчетов. Но это — всего лишь предположение... Абсолютно точно можно сказать, что подлинной минутой торжества Николая Гумилева стали строки его откровений, рожденные трудной любовью к Анне Ахматовой, чей столетний юбилей отмечает сегодня весь просвещенный мир.